

**ТИП СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ  
В РАССКАЗЕ Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА  
«ВЕЛИКИЙ ГРЕШНИК»  
(В КОНТЕКСТЕ «ЖИТИЯ» АВБАКУМА  
И «СОБОРЯН» Н. С. ЛЕСКОВА)**

Рассказ «Великий грешник» написан Д. Н. Маминым-Сибиряком в 1893 г., в период творческой зрелости писателя, совпавшей со зрелостью человеческой. Для Мамина это было время подведения итогов, философских раздумий, поиска новых ориентиров взамен рухнувших прежних. Тема греха и его искупления путем страданий всегда волновала писателя. Пример отца-священника, глубоко верующей матери, уклад семьи, духовное воспитание и образование стали неотъемлемой частью его художественного мира. Не случайно на протяжении всего творчества проблема нравственного выбора присутствовала в его сознании, причем истинность этого выбора определялась путем явного или косвенного соотнесения с христианскими этическими традициями. Уже в первом романе Мамина «В водовороте страстей» очерчен круг тем и образов, которые будут разрабатываться в более зрелых произведениях. Причем в гораздо большей степени, чем социальные вопросы, автора интересуют проблемы духовного порядка: грех как порождение страстей физических и душевных. «Нет, я старый закоренелый грешник, – говорил себе Рассказов, сознававший свои грехи, но не имевший силы отказаться от них, потому что за ним стоял призрак счастья и неотразимо тянул и манил его к себе, обещая все чары, все обольщения, которых жаждала его греховная плоть» [Мамин-Сибиряк, 2002, 152]. Осуждение греховного беспредела, вседозволенности происходит с точки зрения не только православной морали, но и народных представлений о добре и зле, когда не только «перед Богом страшно, но и перед людьми стыдно»: «Сам знаю, что и от Бога грешно, и от людей стыдно, да нет больше моей силушки: иссушила ты меня,

Грунюшка» [Мамин-Сибиряк, 2002, 177], – говорит своей любимой Рассказов. В эпистолярном наследии Мамина мы встречаем примеры как покаяния: «У меня есть очень важный и печальный недостаток – это чересчур резко выражаться...» (письмо к матери от 23 апреля 1878 г., цит. по фотокопии из фондов ОМПУ), так и назидания: «...ты поехал в Москву учиться, а не рассматривать людей, которые тебе не нравятся» (письмо к брату Владимиру от 24 декабря 1882 г.) [Мамин-Сибиряк, 1955, 629]. Подобно своему отцу, Мамин благословляет родных: «...да хранит вас Господь, единственное наше прибежище, сила и спасение» (3 июля 1878 г., цит. по фотокопии из фондов ОМПУ). В этом контексте рассказ «Великий грешник» представляется логическим развитием тех мотивов, с которыми Д. Н. Мамин-Сибиряк вошел в русскую литературу и которые стали для него центральными на протяжении всего творческого пути.

«Великий грешник» был опубликован в журнале «Русская мысль» (1893, № 8, 9). В этом же году в журнале были напечатаны «Остров Сахалин» (№ 10–12) и «Рассказ неизвестного человека» (№ 2, 3) А. П. Чехова, критико-философская статья Д. С. Мережковского о творчестве французского писателя Монтаня (№ 2), его же стихотворения. Была помещена повесть И. Н. Потапенко «На пенсию», а также очерк З. Н. Гиппиус «Костино мщение» (№ 11).

На первый взгляд рассказ «Великий грешник» выбивается из общероссийского литературного контекста, поскольку дискуссии о кризисе церкви, отношении к расколу, тяжелом быте, нищете и забитости низшего духовенства, развернувшиеся на страницах журналов «Русская мысль», «Сын отечества» и других и получившие отклик в произведениях писателей-народников 60–80-х гг. (А. Левитова, Н. Помяловского, Н. Успенского, Н. Златовратского, П. Мельникова-Печерского, Н. Лескова и др.), в 90-е гг. утратили былую остроту. В этом отношении Мамин оказался вне времени, подтверждая слова Чехова, что он принадлежит к тем писателям, которые «свое творчество не приурочивали к преобладающему направлению...». Между тем Д. Н. Мамин-Сибиряк оказался вполне современен другому контексту, в котором существовала и «Русская мысль», публиковавшая, наряду с «Великим грешником», статьи о проблемах жизненной позиции,

общественной политики и морали: «Эволюция и этика» за подписью К. А. Т. (1893, № 9), «Еще о народничестве» В. А. Гольцева (1893, № 10), «Воинствующее народничество» М. А. Протопопова (1893, № 10), «Личное совершенствование и изменение общественных форм» Л. Е. Оболенского (1893, № 7). Хотя бы опосредованно все эти темы нашли отражение в произведении Мамина-Сибиряка. Кроме того, рассказ «Великий грешник» имеет глубокую связь с религиозными исканиями русских классиков, не столь актуальными и модными в тогдaшнее время, но определявшими внутреннюю логику развития литературного процесса.

Если обратиться к истокам заглавия рассказа, то прежде всего возникают ассоциации с названием одной из глав некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо» – «О двух великих грешниках». Н. А. Некрасов оказал большое влияние на юного Мамину, о чем свидетельствует автобиографическая заметка, где говорится о круге чтения семьи висимского священника Н. М. Мамина: «...любимой книгой, которую мать Дмитрия Наркисовича сама читала десятилетнему сыну, была “Детские годы Багрова внука” С. Аксакова. Потом следовали путешествия, сочинения Гоголя, Некрасова, Тургенева, Гончарова и т. д. Для себя больше – “Современник” и Добролюбова» [Мамин-Сибиряк, 1955, 429]. Не менее примечателен вывод, который делает Мамин из приведенного выше списка: «Дмитрий Наркисович еще детским ухом прислушивался в далеком медвежьем углу к отзвукам и отголоскам великого движения конца 50-х и начала 60-х годов» [Там же]. Будучи корреспондентом «Екатеринбургской недели», Д. Н. Мамин-Сибиряк публикует «Библиографическую заметку» в подборке критических статей о Н. А. Некрасове (1886, № 26) за подписью Д. М.-ин.

Имея похожие названия, «О двух великих грешниках» и «Великий грешник» различаются не только по форме, но и по сути: в поэме Некрасова изображено лишь само событие – убийство героем, считавшимся великим грешником и спасающимся в пустыне, жестокого и развратного пана, после чего с него спадает груз собственных грехов. Мамин дает психологический портрет героя, осознающего и искупающего свою греховность: он творит проповедь, наставляя сокамерников, после чего умирает. Трезво и печально глядя на русскую действительность,

Д. Н. Мамин-Сибиряк не верит в социальные реформы, но верит в индивидуальное совершенствование личности. В этом он близок Ф. М. Достоевскому, который также имел замысел написать роман «Житие великого грешника». Вряд ли Мамин знал черновые тетради Достоевского, но тот факт, что у столь различных меж собой художников возникло стремление отразить в своем творчестве данную тему, говорит о многом.

«Заметки из “Жития великого грешника”, – пишет К. В. Мочульский, – сохранились в черновой тетради № 2: первая запись датирована 8–20 сентября 1869 г. Автор набрасывает грандиозный план романа из пяти повестей...» [Мочульский, 1995, 417]. Цитируя Достоевского, литературовед представляет нам замысел писателя: «...юношество и разврат, подвиги и страшное злодейство. Самоотвержение. Безумная гордость. От гордости идет в схимники и странники. Путешествие по России. Роман, любовь. Жажда смирения (канва богатая). Падение и восставание. Человек необычайный. Кончает воспитательным домом у себя и Га-сом (московский доктор-филантроп Гааз. – К. М.) становится. Все яснее. Умирает, признаваясь в преступлении» [Там же, 419]. После великих заблуждений и испытаний, резюмирует К. В. Мочульский, герой спасается. Осененный благодатью, он обретает Бога и приобщается к «живой жизни». Интересен в этой связи образ архиерея Тихона, живущего в монастыре, принимающего под свое покровительство мальчика-преступника и открывающего ему новый мир – любви и смирения. «Величественная фигура святого Тихона (статическая концепция) противостояла фигуре становящегося праведника (динамическая концепция)» [Там же]. Если применить принципы «статики» и «динамики» к произведению Д. Н. Мамин-Сибиряка «Великий грешник», то, пожалуй, мы обнаружим исключительно динамическую концепцию развития как образа главного героя, раскольниковского архиерея Кирилла, так и второстепенных персонажей, заключенных, стихийно ставших его паствой.

Сюжет рассказа прост, но требует обстоятельного знания той жизни и среды, которую описывает Мамин и с которой он действительно был знаком с юности. Он изображает тип проповедника, пастыря, который своим словом буквально творит чудеса. Тема эта в русской литературе не нова, но она не имела в ней

широкого резонанса, поскольку, в отличие от католичества, православие не поощряло развития риторики устного «пастырского» слова. Не случайно так расположенный к нему Н. В. Гоголь имел сложные отношения с православной догматикой. Однако в русской литературной традиции можно встретить личности, чья страстная проповедническая речь вошла в историю; первый среди них, конечно же, протопоп Аввакум. Он близок герою Мамина и прототипически – это отмечал еще И. А. Дергачев, – и через посредство произведений Н. С. Лескова, писателя так же, как и Д. Н. Мамин-Сибиряк, обращавшегося к теме духовенства и в еще большей степени стоявшего особняком в литературе.

Писатели не были знакомы лично, о чем впоследствии сокрушался Мамин, но они двигались в одном направлении, разрабатывали общие темы и были интересны друг другу в художественном плане. Об этом можно судить, например, по фрагменту интервью Н. С. Лескова газете «Новости и биржевая газета»: «...вот я сейчас читаю в “Русской мысли” роман Мамина-Сибиряка под заглавием “Хлеб”. Что это за прелесть! Я сравниваю это произведение с лучшими романами Купера» (1895, № 49) [Русские писатели о Мамине-Сибиряке, 1952, 105]. Мамин же именно в связи с рассказом «Великий грешник» в 1895 г. в разговоре с Ф. Ф. Фидлером сказал: «Ужасно жалею, что упустил случай познакомиться с Лесковым лично. *Это самый интересный из всех современных наших писателей* (курсив наш. – Г. К.). Хотел я его спросить кое о чем для меня неясном в моем “Великом грешнике”. Вопросы эти теософического, а не догматического характера. Ведь он был великим знатоком сектантства. И какой у него богатый, оригинальный слог» [Фидлер, 22].

Обратим внимание на то, что, определяя статус Лескова в современной литературе, Мамин безоговорочно ставит его на первое место среди писателей. Этим он подчеркивает силу таланта Лескова, который стоит как бы «над всеми». Несомненно, Лесков является для него высочайшим авторитетом, с которым можно советоваться и к которому можно обращаться за разъяснениями по вопросам «теософического» порядка, т. е. «бытия Бога» в широком смысле слова, объективного и межконфессионального свойства, в которых Лесков был прекрасно эрудирован. Вопросы же «догматического» характера были Мамину достаточно

ясны. Высокую эстетическую оценку в творчестве Лескова он дает тому, чем сам обладает в полной мере: «И какой у него богатый, оригинальный слог». Отсюда можно сделать вывод, что Мамин знал творчество своего старшего современника, был знаком с его теоретическими взглядами, хотя бы частично разделял их и в какой-то мере считал Лескова своим учителем.

В рассказе «Великий грешник» Д. Н. Мамин-Сибиряк повествует о последних днях жизни раскольников протопопа Кирилла, который принадлежит к австрийскому согласию, в наименьшей степени подвергавшемуся преследованию со стороны властей. В очередной приезд к своей пастве он остановился не у богатой купчихи, как делал всегда, а на постоялом дворе, где и был арестован. Архидиакона заключают в тюрьму за бродяжничество. Читатели становятся свидетелями нескольких дней его пребывания в заключении, в течение которых происходит внутреннее перерождение Кирилла, заканчивающееся его гибелью. В начале пребывания в «живой могиле» его охватывает ужас. Потом, представив, какую панику вызовет его заключение в среде богатых раскольников, он приходит к выводу, что это будет его своеобразная месть. Перелом в душе Кирилла наступает ночью, когда он проникается чувством личной ответственности за все происходящее, за всех людей, в том числе и за своих сокамерников. Смертельно больной, он отказывается выйти на свободу из тюремной больницы и упрямится вернуть его в камеру. Всю ночь длится его страстная исповедь-проповедь, утром он умирает, а на души узников нисходит просветление.

Как бы ни были значительны и любимы Лесковым и Мамин-Сибиряком их герои, они никогда не являются схематичными персонажами, однозначными и примитивно положительными. Это живые люди: ошибающиеся и страдающие, находящиеся под властью искушений и постоянно борющиеся, балансирующие на грани падения и воспарения. Самые выдающиеся из них – личности харизматичные, свято верующие и преданные своим принципам, готовые пойти за них на смерть, способные повести за собой массу сторонников и последователей. Таковы Савелий Туберозов из «Соборян» и Кирилл из «Великого грешника». Связующим звеном между ними стала личность протопопа Аввакума. В рассказе «Догорели огни», над которым Мамин-Сибиряк работал

в конце 80-х гг., он вкладывает в уста одного из героев проникновенные слова об Аввакуме: «Поп Аввакум груб, ужасно груб, часто мужицкой грубостью, особенно в своих письмах к боярыне Морозовой, но эта грубость раскольничьего попа, как твердая скорлупа ореха, прикрывает такое любящее сердце, такую искренность, как кристалл» [цит. по: Дергачев, 1992, 152].

Обращает на себя внимание близость «Жития» Аввакума и лесковских «Соборян». В. Гебель пишет: «Трагическая жизнь Аввакума, исполненная гонений, борьбы и лишений, – в соответствии с обнаженным авторским замыслом, – как бы сопоставляется и в известной мере сближается с жизнью центрального героя “Соборян” – опального протопopa Старгорода Савелия Туберозова. Лесков подробно описывает преследования Аввакума. “Двадцати трех лет Аввакум, – читаем мы в рукописи, – вооружился против лжи, откуда бы она ни шла, и заслужил за это порицание и гонение властей, долг которых отстаивать истину”. В дальнейшем автор откровенно пользуется текстом “Жития Аввакума”, включая из него в свою рукопись печатные выдержки, например, описание Аввакумом сибирской природы: “горы высоки, дебри непроходимые, утес каменный, яко стена стоит...”; рассказ о переправе на пути в острог: “сверху дождь и снег, а по брюху и по спине... Привезли в острог и в тюрьму кинули, солomки дали. И сидел до Филиппова поста в студеной башне”» [Гебель, 1945, 134].

Для Мамина-Сибиряка прототипическая фигура Аввакума была еще более важна, поскольку герой его рассказа, в отличие от лесковских персонажей – священнослужителей господствующей церкви, принадлежит к расколу. Стиль его поведения, характер высказываний нередко напоминают нам характеристики Аввакума, данные в его собственном житийном описании. Характеризуя Кирилла, Мамин-Сибиряк использует типичные формулы-мысли Аввакума. Так, подобно Аввакуму, Кирилл парадоксальным способом снимает вину с мучителей-тюремщиков, он даже сочувствует им: ведь они сами в сетях дьявольских. Аввакум говорит: «Диавол между нас рассечение положил, а оне всегда добры до меня»; «Не их то дело, но сатаны лукаво»; «...не станем мы на никониан гневаться, но на дьявола» [Аввакум, 1979, 53, 51]. Кирилл похоже объясняет действия тюремных зрителей:

«Львояростно пакинулся на него смотритель, а того не понимает миленький, что не своею волей действует, а яко слуга и поборник антихриста, любезный его сосуд и вместилище» [Мамин-Сибиряк, 1917, 369]. Нередко писатель использует характерные для «Жития» способы организации текста. Так, например, основным приемом, создающим непередаваемое своеобразие произведений Аввакума, является сочетание в рамках одного смыслового отрезка, иногда абзаца, высокой старославянской лексики и низкого «вяканья», включающего просторечные разговорные слова. Вот аналогичный пример из размышлений Кирилла: «Давеча антихрист сцапал святую воду, а теперь добрался и до волос. И как хитро подбирался, яко тать в ночи. Вон как ему весело, точно жеребец заржал» [Там же, 378]. Свойственная Аввакуму игра слов, придающую особую свежесть речи, проявляется и в манере высказывания маминского протопопа Кирилла: «Больно велики у вас палаты, миленький, а я человек маленький. Еще заблужусь... Была прежде дорога, да заросла травой»; «...кривых твоих слов не люблю, волчище. Зубы волчьи прячешь и след хвостом заметаешь» [Там же, 374, 379]. Писатель вводит в речь своего героя слова и выражения, характерные для Аввакума. Так, одним из любимых обращений Кирилла к единомышленникам и врагам становится обычное для Аввакума слово «миленький». Ту же стилистическую окраску имеет слово «бедненький»: «Злости-то, злости-то сколько в них, бедненьких»; «...только ты не знаешь одного, миленький...»; «...спите, миленькие горемыки...» [Там же, 368–396, 373].

В тексте «Соборян» Лескова есть прямая ссылка на «Житие Аввакума». В сцене вынужденного отъезда Туберозова из Старгорода из-за его столкновения с консисторскими и светскими властями, в момент, когда квартальные подхватывают опального протопопа, он на просьбу жены пощадить свою жизнь отвечает: «Не хлопочи: жизнь уже кончена; теперь начинается “житие”» [Лесков, 1989, 256]. В этих словах чувствуется обреченность священника, но вместе с тем его непреклонная воля, готовность погибнуть, но не сдаться... Как указывала В. Гебель, «“Демикотонная книга” протопопа Савелия сделана в тон автобиографии Аввакума. Подобно тому, как в “Житии” опального протопопа XVII века ярко выступает неумолимо суровое отношение к про-



тивникам-никонианам и благожелательное к друзьям-единомышленникам, так и в записях Туберозова при общих оппозиционных настроениях по адресу консистории и властей проскальзывает нежность и заботливость к друзьям, например, к Ахилле» [Гебель, 1945, 98].

В первоначальной редакции романа, не ограничиваясь жизнеописанием Аввакума, по выражению автора – «богатыря вопля и терпения», Лесков вводит картину тоекратного видения Туберозову образа Аввакума во время грозы, причем Савелий Туберозов настойчиво и откровенно сравнивается здесь со своим далеким предшественником. Аввакум призван подготовить Туберозова к предстоящему подвигу – борьбе «за правду». «О, я теперь хочу, – восклицает пробужденный незримым голосом Туберозов, – я жажду в жизни раз царем творения стать! О, я хочу коснуться вечной правды и подвигом бесстрашия отметить на земле мое течение». Но сомнения, заботы об одинокой протопопице еще мучают Савелия. «Она, моя голубка, горлица моя, ласковая моя подруга... о, разреши, о, разреши мне, бог, мои сомнения...» [цит. по: Там же, 135]. В дальнейшем Лесков заставляет своего героя не только слышать, но и видеть и окликать по имени Аввакума, который на фоне разразившейся грозы является протопопу то грозным, карающим, то кротким, благословляющим следовать его примеру.

В печатных редакциях сцена грозы подвергнута значительным изменениям: она освобождается от символического явления Туберозову Аввакума. Возможно, удаление Аввакума сделано Лесковым по цензурным условиям, но скорее всего писатель руководствовался художественными соображениями. В своей дальнейшей работе над романом Лесков «стремился к максимальной сжатости текста и удалял все, что мешало выразительности, яркости и художественной оправданности отдельных сцен» [Там же, 136].

Однако эпизод с грозой является чрезвычайно важным. Все здесь имеет особый смысл: и предгрозовое состояние природы, и состояние героя между сном и явью, и таинственность места, овеянного древними легендами, и появление незнакомца – «прохладного и тихого в длинной одежде цвета зреющей сливы...» [Лесков, 1989, 246]. Повествование замедляется, становится похожим на сказ, подготавливая читателя к тому, что именно в этом месте и в это время в жизни Туберозова произойдет необыкновенное

событие. «Родник почитают все чудесным, и поверье гласит, что в воде его кроется чудотворная сила, которую будто бы знают даже и звери и птицы. Это всем ведомо, про это все знают, потому что тут всегдашнее таинственное присутствие Ратая веры. Здесь вера творит чудеса, и оттого все здесь так сильно и крепко, от вершины столетнего дуба до гриба, который ютится при его корне. Даже, по-видимому, совершенно умершее здесь оживает: вон тонкая сухая орешина; ее опалила молонья, но на ее коже выше корня, как зеленым воском, выведен “Петров крест”, и отсюда опять пойдет новая жизнь. А в грозу здесь, говорят, бывает не шутка.

“Что же; есть ведь, как известно, такие наэлектризованные места”, – подумал Туберозов и почувствовал, что у него как будто шевелятся седые волосы» [Там же, 248].

В процессе выработки индивидуальной творческой манеры Д. Н. Мамин-Сибиряк нередко ориентировался на сказ, особенно это характерно для его ранних произведений. Рассказ «Великий грешник» написан в манере объективного «безличного» повествования, однако он изобилует диалогами, в нем чрезвычайно много разговорных сцен, так что повествование словно погружено в стихию разнообразной живой народной речи. Речь каждого персонажа у Мамина-Сибиряка ярка и колоритна, полностью соответствует его профессиональному и социальному статусу: священнослужители, наряду с общеупотребительной лексикой, используют тексты священных писаний; бурлаки, рабочие, крестьяне – сыплют пословицами, поговорками, крепкими народными выражениями вперемежку с профессиональными терминами; представители интеллигенции изъясняются правильной книжной речью. Для достижения комического эффекта писатель широко применяет словесные приемы, создающие речевые казусы и несогласования. Он описывает тюрьму глазами героя, с характерной для него речевой интонацией. Ср.: «Первый день показался ему ужасно тяжелым. Арестантский обед в общей столовой просто оглушил его, как сонмище нечестивых. <...> И ели все неистово, как ест скотина, нет – хуже. Да и чего было ждать от этих татей, насильников, грабителей, человекоубийц!..» [Мамин-Сибиряк, 1917, 371]. Благодаря этому процесс внутренней эволюции протопопа Кирилла получает объективное отражение. Передавая

тяжелые впечатления своего героя, автор-повествователь отказывается от собственного оценочного слова, он дает образ окружающего мира через восприятие центрального персонажа, лишь иногда корректируя его ироническими или сочувственными замечаниями, и эта манера повествования в совокупности с дословной передачей заключительной проповеди Кирилла делает личность героя многогранной и целостной.

Но вернемся к сцене грозы в романе Лескова. После того как отец Савелий чудом избежал смерти (его лишь оглушило), он почувствовал, что будто заново родился для новой жизни и новых дел: «Туберозов, сидя в своей кибитке, чувствовал себя так хорошо, как не чувствовал себя давно, давно. Он все глубоко вздыхал и радовался, что может так глубоко вздыхать. Словно орлу обновилась крылья! <...> И протопоп рассказал жене все, что было с ним у Гремучего ключа, и добавил, что отныне он живет словно вторую жизнь, не свою, а чью-то иную, и в сем видит себе и урок и укоризну, что словно никогда не думал о бренности и ничтожестве своего краткого века» [Лесков, 1989, 251–252]. Прозрение и просветление, которое с ним случилось в этом благословенном месте, придало ему новые силы для борьбы: «Я жажду... истины», – говорит он жене.

Н. С. Лесков и Д. Н. Мамин-Сибиряк пытаются художественно постичь *человеческое* в человеке, находящемся в ситуации экстремальной. Мамин бросает своего героя на самое дно жизни, в тюремную камеру, «где мучаются грешные души», а затем художественно возвышает, демонстрируя силу духа Кирилла, отказавшегося от собственного спасения ради спасения душ своих товарищей по несчастью. Лесков, наоборот, с первых же страниц «поднимает» Савелия Туберозова над обыденностью, над обывательской пошлостью, заставляя героя в естественной для него среде мыслить и совершать поступки в соответствии с евангельскими заповедями. Уже сам портрет отца Савелия, написанный в романтическом стиле, настраивает читателя на особенное восприятие этого человека: «Отец Туберозов высок ростом и тучен, но еще очень бодр и подвижен. В таком же состоянии и душевные его силы: при первом на него взгляде видно, что он сохранил весь пыл сердца и всю энергию молодости. Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образцом мужественной

красоты. Волосы Туберозова густы, как грива матерого льва, и белы, как кудри Фидиева Зевса. Глаза у него коричневые, большие, смелые и ясные. Они всю жизнь свою не теряли способности освещаться присутствием разума; в них же близкие люди видели и блеск радостного восторга, и туманы скорби, и слезы умиления; в них же сверкал порою и огонь негодования, и они бросали искры гнева – гнева не суетного, не сварливого, не мелкого, а гнева большого человека» [Лесков, 1989, 45–46].

Внешний облик Кирилла представлен крайне скупой: «худой мужик в длинном темном полукафтаны». Дальнейшее описание мы получаем из уст тюремного стражника: «Этакая черная одежда, в том роде, как монашеская, только с красным кантом. Ну, опять шапочка черная, значит клобук, книги церковные, свечи восковые, в том роде, как будто вся архиерейская снасть. Акакий Семеныч все и забрали, потому как кругом не прост человек...» [Мамин-Сибиряк, 1917, 364]. Мамин намеренно наделяет своего героя неприметной и негероической внешностью, чтобы подчеркнуть силу его духа. «Ласковый голос», «кроткая улыбка», «светлые глаза» и вместе с тем: «Ревностный был человек и в слове тверд. И не боялся он ничего, и не потакал богатым мужикам» [Там же, 369, 374].

Отец Савелий и протопоп Кирилл – люди, положившие христианскую веру и этику в основание всей своей жизни. Однако это не роднит их с остальными людьми, а, напротив, делает изгоями, которых или не понимают, или понимают не до конца. Отсюда – безмерное одиночество: «Ему (Туберозову. – Г. К.) припомнились слова, некогда давно сказанные ему покойною боярыней Марфой Плодомасовой: “А ты разве не одинок? Что же в том, что у тебя есть жена добрая и тебя любит, а все же чем ты болеешь, ей того не понять. И так всяк, кто подальше брата видит, будет одинок промеж своих”».

– Да, одинок! Всемерно одинок! – прошептал старик. – И вот когда я это особенно почувствовал? Когда наиболее не хотел быть одиноким...» [Лесков, 1989, 226].

«Господи, где я? – повторял Кирилл в ужасе. – Господи, за что? И земля-матушка носит таких злодеев, не расступится от их зверства, и он, служитель Божий, сидит с ними под одною кровлей» [Мамин-Сибиряк, 1917, 377]. Оба пастыря испытывают на себе

людовой суд, часто жестокий и беспощадный: «...не спал Кирилл. Теперь его острог уже не пугал, а пугало то, что вот этот острог был против него. Все номера ненавидели его, значит он был хуже их всех, вот этих душегубов, татей и насильников» [Там же, 338].

«Даже самые друзья и приятели Савелия строго обвиняли его в неосторожном возбуждении страстей черни. На этом возбуждении друзья его сошлись с его врагами, и одним общим хором гласили: нет, этого терпеть нельзя!» [Лесков, 1989, 254]. Но этот суд, пожалуй, менее суров, чем суд собственный. Его совершает над собой Кирилл: «Пастырь я, а душой злобился... Пастырь, а впал в уныние... Пастырь, а осудил помраченных антихристовой прелестью...» – говорит Кирилл Авдотье Марковне, приехавшей выручать его из острога [Мамин-Сибиряк, 1917, 386]. Он сам мыслит о себе как о «великом грешнике» – и стремится искупить свой грех гордыни и осуждения людей через покаяние перед ними и исполнение долга пастыря, который остается с паствой до конца.

Пройдя через чистилище своей совести, через искушение отказать от борьбы, через раскаяние в собственном малодушии, Савелий и Кирилл встают на путь христианского, духовного служения людям.

Размышления Кирилла приводят его к убеждению бороться со злом в душах людей. «Но рядом с этой мечтой о возможной свободе возникла совершенно новая мысль, немало смущавшая Кирилла. Да, за ним нет никакой большой вины, и сколько ни подержат в затворе, а все-таки выпустят. Увидит он опять вольный белый свет, и зеленый лес, и всякое сельное произрастание, а вот “эти” останутся. Вся работа антихристова останется, как была. Страшны не каменные стены, не жестокие пристава и железные затворы, а страшен мрак душевный, страшна облегающая тьма. И будут они томиться, полные греха и злых помыслов, и ни один светлый луч не заглянет в очерствевшие души. Они останутся, а он, служитель Христов, малодушно думает о воле... Какая воля, если врач нужен не здоровым, а больным?» [Там же, 380].

Савелий Туберозов направляет свои усилия на борьбу с неверием, попранием нравственно-этических норм, духовной нищетою: «...у нас в необходимость просвещенного человека вменяется безверие, издевка над родиной, в оценке людей, небрежение

к святыне семейных уз, неразборчивость... кто же теперь “маньяк”? Я ли, что, яснее видя сие, беспокоюсь, или те, кому все это ясно и понятно, но которые смотрят на все спустя рукава: лишь бы де на наш век стало, а там хоть все пропади! Но я решился ничего этого не терпеть и на что решился, то совершу, хотя бы то было до дерзости...» [Лесков, 1989, 226–227].

Произведению Лескова свойственна удивительная исповедальность: Туберозов доверяет свои сокровенные мысли «Демикотоновой книге». В дневнике протопопа в постоянном соседстве с описанием простых житейских мелочей находятся размышления о судьбе родины и народа, так выявляется его причастность ко всему земному, многократно усиливающая значительность духовных исканий героя. Ему самому исповедуются и Наталья Николаевна, и дьякон Ахилла. Каждая такая исповедь – духовное действие, значимый *поступок*, особым образом характеризующий личность священника.

«Изображаемая среда – духовенство и обыватели уездного городка – рисуется как бы изнутри, в экспрессиях, присущих ей самой» [Дыханова, 1981, 198]. Однако в исповедальности запечатлен духовно-биографический опыт и самого Лескова: «Самораскрытие автора, имеющее во многих случаях исповедальный характер, составило весьма существенный пласт литературы ряда эпох, в особенности же XIX и XX столетий» [Максимов, 1981, 17].

Анализируя собственное религиозное чувство, отец Туберозов так говорит о проповеди: «Я ощущаю порой нечто на меня сходящее, когда любимый дар мой ищет действия; мною тогда овладевает некое, позволю себе сказать, священное беспокойство; душа трепещет и горит, и словно падает из уст как уголь горящий. Нет, тогда в душе моей есть свой закон цензуры... а они требуют, чтобы я вместо живой речи, направляемой от души к душе, делал риторические упражнения... Я сей дорогой не хожу... Я из-под неволи не проповедник» [Лесков, 1989, 253.]

Интересно, что, поэтапно описывая подготовку Савелия Туберозова к произнесению своей главной проповеди и обретение им уверенности в ее необходимости, Лесков саму проповедь показывает только в рукописных набросках пастыря, а не в момент ее произнесения. Это не столько проповедь в строго каноническом плане, сколько горькие мысли о современном состоянии общества.

В ней теологический аспект не самоцелен и является скорее иллюстрацией: «Непонимание натуры человека, и проистекающее отсель бесстрастное равнодушие к добру и злу, и кривосудство о поступках: оправдание неоправдимо и порицание достойного. Моисей, убивший египтянина, который бил еврея, не подлежит ли осуждению с ложной точки зрения иных либералов, осуждающих горячность патриотического чувства?» [Там же].

Д. С. Лихачев заметил, что Аввакума особенно «болезненно ранит безобразие жизни, ее греховность. Отсюда страстная потребность проповедничества» [Лихачев, 1970, 144]. В связи с рассказом «Великий грешник» И. А. Дергачев писал: «Как и в “Житии” Аввакума, здесь восприятие тюремного быта, конкретных биографий людей, их “согрешений”, даже мелочи, вроде отобранной у Кирилла бутылочки со святой водой, – все получает освещение в качестве одной общей картины греха, несправедливости, неправых установлений» [Дергачев, 1992, 159].

Проповедь Кирилла начинается с исповеди перед сокамерниками: «Слепым я сюда вошел, миленькие, а теперь прозрел... Мальчонка остался покаяться в гресех, им же несть числа и меры. Господь открыл глаза и мне, многогрешному. <...> Рассказал Кирилл про свары и рассечение своей паствы, и как он приехал устранить рознь, и как хотел смирить гордыню Авдотьи Марковны, а вместо этого попал в лапы Ежовой-голове» [Мамин-Сибиряк, 1917, 397]. На примере своих злоключений Кирилл пытается просветить товарищей о кознях антихриста, и они внимают ему: «Вся камера притихла, как один человек, слушая эти странные речи. Для всех сделалось ясно все то, что говорил Кирилл. Конечно, обошел всех антихрист и так ловко обошел: комар носу не подточит. Кто-то широко вздохнул, подавленный этою ясною, как день, мыслью» [Там же, 398].

Чем дольше говорит Кирилл, тем больше крепнет голос, тем ближе его пафос к пафосу «огнепального протопопы»: «Голос Кирилла неожиданно окреп, полилась речь обличения против отступников.

– Льется напрасная христианская кровь, погубляются души, во тьме содеваются тайно-страшные и неудобь-сказуемые дела... И женск пол приял свою часть в студных делах. Страх и трепет объял всех. Иные и ничего не сделали, а просто бегут и скитаются

по лесам, бегут, а за ними *он* (курсив автора. – Г. К.) лютее гонится и дышит огнепальной яростью на приявшего звериный образ человека» [Мамин-Сибиряк, 1917, 398].

Своеобразный стилистический колорит проповеди старообрядца создается здесь за счет того, что Мамин-Сибиряк, как отмечал И. А. Дергачев, использует «прием толкования канонических текстов на материале современности, что характерно для Аввакума. Его герой в духе Кирилловой книги и сочинений Игнатия Богоносца, столь популярных у раскольников, осмысливает и пляски в варьете, и цирковые представления, и моды женщин, и спиритизм. Предметы размышления страшно удалены от догматических построений, но это нисколько не мешает “старцу”» [Дергачев, 1992, 159].

Таким образом, сравнивая изображение проповеди Лесковым и Маминым-Сибиряком, можно сделать вывод о том, что Лесков идет по пути сокрытия своего авторского «я», прибегая к посредству чужого видения, и всячески ограничивает себя в самодовлеющем проповедничестве. Писатель отходит от тенденциозности, проповеднический пафос заменяется проникновенной исповедальностью. Мамин-Сибиряк вкладывает в уста своего героя страстную проповедь-протест, открыто выражающую идеологическую программу раскольниковьего протопопа. Кирилл трактует современность не только с точки зрения теологии, но и с позиции духовной нравственности, и в этом случае она в ряде моментов сближается с авторской позицией. Ср., например: «работать никто не хочет... Все боярили бы да легкий хлеб ели...»; или: «...не своею волей мучатся: льстец их голом донимает. Тоже есть хотят миленькие горемыки... Тут заплашешь голая, когда женская плоть отдана на поругание и голом изнемогает» [Мамин-Сибиряк, 1917, 399]. «Великий грешник» не лишен тенденциозности, но при этом проповедь героя имеет исповедальный характер: «Целую ночь не спал шестой номер, а Кирилл все говорил и говорил. Он выложил *всю свою душу* (курсив наш. – Г. К.)» [Там же].

Д. Н. Мамин-Сибиряк предстает тонким знатоком и исследователем человеческих душ. Погружение в глубины духовного мира человека сочетается с показом широкого спектра социальных проблем, освещенных в его крупных произведениях романного



жанра. В этом плане рассказ представляется логическим продолжением той линии в литературе, которую Мамин-Сибиряк избрал в начале творческого пути. «Великий грех», который изживает и искупает герой рассказа, — это грех гордыни. Осознание его гипертрофированно, доведено до предела, до абсолюта. Если вначале Кирилл упивается собственной значительностью, находясь во власти самолюбия, то к концу рассказа его личность как бы растворяется в духе, освобождаясь от всего мелкого и наносного. Путь духовного преображения человека является стержнем произведения. Однако есть в этом личном духовном подвиге и более глубокий смысл, объединяющий все три фигуры — Кирилла, Савелия и Аввакума. Это идея *преображения человечества*. Чтобы делать эту работу, нужно чувствовать в себе силы, понимать свои возможности, свое особое предназначение — то, что выразил Савелий Туберозов в емкой фразе: «Жизнь кончилась; начинается “житие”»; то, что присутствовало в сознании Аввакума, написавшего свое жизнеописание и озаглавившего его «Житие», несмотря на то, что это противоречило христианской традиции (ибо «Житие» могло быть написано о святом, уже закончившем свой земной путь).

В 1893 г. «Русская мысль» предложила своим авторам анкету, которая раскрывала их художественно-эстетические вкусы и запросы. На вопрос «Любимый из героев действительности» Мамин ответил: «Поп Аввакум». Это признание является еще одним подтверждением того, что масштабная личность Аввакума постоянно присутствовала в его писательском сознании и была одним из родников, питавших его творчество. «Полету воображения писатели XIX века часто предпочитали наблюдение над жизнью: персонажи и сюжеты были приближены к их прототипам» [Хализев, 2005, 104]. По словам Н. С. Лескова, настоящий писатель — это «записчик», а не выдумщик; «где литератор перестает быть записчиком и делается выдумщиком, там исчезает между ним и обществом всякая связь» [Русские писатели о литературном труде, 1955, 306]. В этом плане Д. Н. Мамин-Сибиряк был предельным реалистом. О нежелании фантазировать писатель заявлял прямо: «Придумывать жизнь нельзя, как нельзя довольствоваться фотографиями. За внешними абрисами, линиями и красками должны стоять живые люди, нужно их

видеть именно живыми, чтобы писать» [Русские писатели о Мамине-Сибиряке, 1952, 92].

---

*Аввакум.* Житие протопопа Аввакума, им самим написанное и другие его сочинения. Иркутск, 1979.

*Гебель В. Н. В.* Лесков. В творческой лаборатории. М., 1945.

*Дергачев И. А. Д. Н.* Мамин-Сибиряк в литературном контексте второй половины XIX века. Екатеринбург, 1992.

*Дыханова Б.* В поисках своего слова (из наблюдений над стилем Н. Лескова) // *Вопр. лит.* 1981. № 2.

*Каргашин И. А.* Сказ в русской литературе: Вопросы теории и истории. Калуга, 1996.

*Лесков Н. С.* Собр. соч.: В 12 т. М., 1989. Т. 1.

*Лихачев Д. С.* Человек в литературе Древней Руси. Л., 1970.

*Максимов Д. Е.* Поэзия и проза Александра Блока. Л., 1981.

*Мамин-Сибиряк Д. Н.* Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1917. Т. 11.

*Мамин-Сибиряк Д. Н.* Полн. собр. соч.: В 20 т. Екатеринбург, 2002. Т. 1.

*Мамин-Сибиряк Д. Н.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1955. Т. 8.

*Мочульский К. В.* Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995.

Русские писатели о литературном труде: В 4 т. Л., 1955. Т. 3.

Русские писатели о Мамине-Сибиряке // *Юж. Урал.* 1952. № 8–9.

*Фидлер Ф. Ф.* Литературные силуэты: Д. Н. Мамин-Сибиряк // *ОМПУ.* № 4383.

*Хализев В. Е.* Теория литературы. М., 2005.

**Е. К. Созина**

## **«СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА» Л. ТОЛСТОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ И. БУНИНА**

«У нее (смерти. – Е. С.) свои истины, свои очевидности, свои возможности и невозможности. Они не мирятся с нашими обычными представлениями, и мы не умеем постигать их. Только исключительные люди, в редкие минуты напряженнейшего ду-

© Созина Е. К., 2007